

Светлой памяти Розы Зариповой

Белым змеем полз по дороге февраль, извивался вдоль прерывистой линии, замирал, вытянувшись поперек асфальта... Вскакивал, броском достигал перекрестка и опять ложился — ждать, когда проедет грузовик, чтобы прошмыгнуть под ним, не задев колес. Это была его забава.

Машина не показывалась. Утром здесь проезжал бензовоз, разрисованная фура, штук десять легковушек — все они скрылись за зелеными воротами, прерывавшими сплошную, казалось, бесконечную стену серого бетона. Змей надеялся только на удачу, потому что знал: теперь здесь вряд ли что-то проедет. Разве часов после семи, когда кончится рабочий день и станет совсем темно. А когда темно, нырять меж колесами неинтересно.

Этот самый тихий, почти заброшенный перекресток формально находится в черте города. Всякий раз, прилетая сюда, змей недоумевал: ну какой здесь город? Хоть бы автобус пустили, ведь целых пять километров до конечной. И что они там делают за этим забором? Наверное, что-то глупое, мало кому нужное...

Белому змею надоело лежать, он поднялся, сделал стойку, расправил матовый капюшон, броском шархнул по зеленым воротам, тут же мелкими кольцами прошелся вдоль массивного порога, с наслаждением слушая, как басовито ругается металл, и подался обратно, на шоссе.

Весело, рывками пролетел километра два, поиграл сам с собой, кидаясь на несуществующего врага, столбиком смерча прокатился по грязному снегу в кювете, выскочил на полотно, глянул в меркнувшее небо и упал поперек трассы.

Скоро придет ночь и будет много работы, которую змей не любил, хотя выполнял честно: грохотал в придорожных полях, до совершенных линий отглаживал сугробы. Но в темноте плохо, потому что не видишь себя, а змей еще молод, ему, коль считать по верному старому календарю, пошла только первая неделя, впереди еще пять, если не больше, и еще есть время до того, как устанешь, обозлишься и будешь всерьез рушить все, что попадется на пути, перед уходом опрокинешь остановку, порвешь рекламу, которую специально распяливают на пол-улицы, чтобы ты, змей, расшиб себе лоб.

Он лежал, иногда приподнимался, зависал над дорогой, немного тоскуя о краткости дня, и так, может быть, совсем улегся бы отдохнуть перед ночной работой, но тут увидел...

Цветастая фигурка двигалась по обочине. Человек высокого роста, грузный, в трехцветной куртке шел, пошатываясь, будто сопротивляясь ветру. «Хотя отчего шататься? — подумал змей. — Я ведь на месте... Должно быть, пьяный».

Не сказать чтобы его забавляли пешеходы, да и появлялись они здесь чрезвычайно редко, но змей обрадовался человеку. Он поднялся метров на пять, подлетел к нему, легонько, ради знакомства, толкнул в спину, сделал несколько кругов, рассматривая его со всех сторон. Сизыми руками человек дернул вверх и без того поднятый воротник — и, как показалось змею, заметил его, следил за ним черными огромными глазами... И оттого мысли змея повеселели.

«Вроде не пьяный, запаха нет, — решил он, — а что пошатывается, так замерз, устал: километра три отмахал, не меньше. Шапка у него почти новая, только хилая. Как их называют-то, шапки эти? Обезьяньей задницей, кажется... Клапаны завязаны под подбородком, и сам подбородок свисает, закрывает узелок... Толстоват ты, парень... Сумчонка черная через плечо, такие, я слышал, летом носят. Курточка дутая, внутри пух или какая другая дрянь, снаружи клеенка — чуть за тридцать, и начнет хрустеть, осыпаться. А глазищи — да... Как болты на тех воротах, и губы большие, бантиком, хоть и сизые, щеки разноцветные, выпирают... Мать, мать! Что у него на ногах? Полуботинки на шнурочках! Ну и что, что носки шерстяные, это ж рыбий мех — в мое-то время, даже обидно... Чего косишься? Сюда умные люди пешком не ходят, только на машинах, а тебе, видно, что-то приспичило на этом заводе. Ты же на завод идешь? Ну иди, иди, не меньше часа тебе еще идти, как раз до темноты скоротаю время. Как тебя зовут-то? Не скажешь, знаю, что не скажешь...»

Змей вытянулся тонким зигзагом и начал, как цирковая собачка, шнырять между ногами человека, и человек, будто поняв эту игру, стал шагать шире и реже.

Но вскоре забава наскучила змею. К тому же в это время загудели ворота, из которых показался небольшой японский грузовик; змей метнулся к нему, зайдя сбоку, скользнул по выгнутому лобовому стеклу — он любил такие стекла, — пролетел под колесами, а когда поднялся над кабиной, собираясь идти на второй круг, замер — и синий грузовик пулей выскочил из-под него.

Теперь на обочине был уже не один человек, а четверо. «Откуда взялись эти трое? Под снегом, что ли, прятались? Или в том перелеске? Так до него километр, не меньше, да еще по сугробам... Как же я их проморгал?»

О чем трое говорили с тем парнем, змей пока не слышал, но по тому, как стояли — двое спереди, один чуть сзади, — он понял, что у людей назревает своя забава, от которой тому, первому, парню ничего хорошего ждать не стоит. Змей приблизился, чтобы разобрать их речь, но не понял ни слова, да и слов, по всему видно, было немного или не было совсем: тот, что стоял сзади, ударил парня по затылку, двое передних несколько раз воткнули ему кулаки под дых — парень осел и больше не двигался. Двое оттащили его в кювет и мастерски, не мешая друг другу, начали обшаривать карманы. Третий стоял на обочине, копался в маленькой черной сумке. Змей видел, как мелькнула в его руке желтая бумажка, которая под досадливый плевок оказалась у него в кармане, потом появились книжечки — документы, наверное...

Один из двоих поднялся, развел руками, но третий, улыбнувшись, показал добычу, спустился в кювет, острым носком ботинка приподнял лицо лежащего парня и произнес почти приветливо: «Будь здоров, Александр Александрович».

Когда те трое уже шли по трассе к городу, змей, опомнившись, налетел, несколько раз ударил им в спину, сделал разворот — вмазал по мордам (он не запомнил эти морды, там, кажется, нечего было запоминать), но злость его оказалась делом пустым. Один из троих обматерил змея, потом они и вовсе перестали его замечать. Так и прошагали все три километра до конечной.

Отлетев от них, змей поднялся так высоко, что дорога стала тонкой серой лентой, а лежащий человек на обочине — крохотным крестиком.

И змей подумал: не надо бы ему лезть в эту жизнь, в которой за последние двадцать лет, когда люди спрятались в машины, чтобы совсем не соприкоснуться с погодой, он стал чужим, бессильным, незаметным, как старик. Он не летний дождь, которого ждут...

Пребывая на земле бесконечное множество лет, возрождаясь каждую зиму и умирая к весне, он знал такое, чего не знали люди: что каждый из ветров, такой же, как они, обитатель местности, носит в себе их исчезающую жизнь...

Человек лежал неподвижно, красное вытекло из-под его шапки, намочило сухой снег, но и этой красноты уже почти не было видно: сумерки загустели, еще меньше получаса, и будет ночь. Змей понимал, что не сможет

ни разбудить, ни тем более поднять его. Оставалось только заровнять человека снегом, как делал он это в прежние времена, когда видел, что в идущем уже не хватает теплой крови, чтобы выжить, и помощи не будет, и потому пусть лучше уснет и спит... Но сейчас близость других людей останавливала его.

Через два часа ненадолго ожила трасса — с завода пошли вечерние машины. Змей бросался на лобовые стекла: «Там ваш человек в кювете лежит», — но его не замечали, и он совсем обмяк, осознав свое грустное одиночество и то, что так нелепо кончилась история Александра Александровича, прохожего в трехцветной куртке.

Прежде чем уйти в загородные поля, змей поднялся над трассой и прошептал со страшной высоты: «Э-эх вы-ы...»

ТРИ СВАДЬБЫ

На самом деле Александром Александровичем он значился только в документах — в паспорте, в трудовой, пенсионной и сберегательной книжках.

А в действительности он был Шурик, и в том, что он именно Шурик, состояло его главное отличие от всех прочих людей.

В первую очередь, от его же собственного отца.

Шурка Шпигулин вернулся из армии в начале зимы тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

Пришлось совмещать встречу со свадьбой, поскольку явился он не один, а с уже распisanной женой, и под

пальто у нее заметно топорщилось. Шуркина мать встретила пару ласково, как полагается, потом, будто хлопача, вышла на двор, позвала Шурку и отхлестала вожжами прямо по шинели, которую тот не успел снять.

Много народу набилось в просторную шпигулинскую избу, потому как помимо родственников не возбранялось заходить любому, кроме разве что деревенской ведьмы. Когда собирались гости, мать сильно боялась, что начнут говорить ее сыну нехорошие слова и Шурка с младшим братом Коськой кинутся в драку прямо в избе. Но как-то все обходилось мирно, наверное, потому, что попойку с ровесниками Шурка благоразумно приберег на потом и пришли большей частью люди степенные.

Жена у Шурки была высокая, красивая и старше его года на три. Деревне она понравилась. Присутствовавший на празднике веселый дед Никита Иванович Калин, раскрасневшись от самогона, спросил виновника торжества:

— А в каких ты, Шурка, войсках служил?

— В артиллерии.

— У-у, — почтительно протянул Никита Иванович, — стало быть, ты из пушки стрелять мастер.

— Не, деда, я пушку за три года в глаза не видел.

— А как же так?

— Стадион строил в Хабаровске. На присяге дали карабин подержать, потом в палатки загнали — и с лопатой от звонка до звонка, зимой и летом.

— О как...

Шурка проглотил, что жевал, и произнес громко, чтобы слышали все:

— Находясь в Вооруженных силах, можно сказать, не покидал народного хозяйства.

Тут впервые подала голос молодая жена:

— Саша получил специальность бетонщика. Четвертого разряда.

— О как! — хохотнул дед. — Не покидал — это хорошо... четвертого разряда... Только куды нам бетонщики-то, в деревне?

— Ты, Никита Иванович, темнота, — подскочил Коська, тут же получив от матери шлепок по заду, но продолжил, будто не заметил ничего: — Бетон сегодня необходим везде. И в сельском хозяйстве тоже! Например, на строительстве современных свиноферм, коровников, при заливке фундамента жилых домов высотой от одного этажа и выше. Да мало ли где еще!

— Глянь ты какой — фу-ты, ну-ты, ножки гнуты. — Дед посерьезнел, расправил желтую бороду, полез в карман музейных зеленых галифе и достал банку из-под монпансье, в которой держал табак.

— Давайте-ка еще по одной, — зычно возгласила мать.

Через неделю, отгуляв с ровесниками, устроился Шурка трактористом и жил, как положено трактористу: когда не пахал — пил, а бывало, что и просто пил.

В первых числах апреля шестьдесят восьмого Шуркина жена родила мальчика и назвала его самолично в честь мужа — Александром, на что родня ответила деликатным, сдержанным согласием. А чтобы отличать новорожденного от его

папаши, стали его звать Шуриком. И так это всем понравилось, что Шурика с Шуркой никто и никогда не путал: каждый, кроме этих, из официальных инстанций, сразу понимал, о ком идет речь.

Получился Шурик совсем нездешнего вида, такой, что посмотреть на него ходили не только те, кому положено по родству, но и просто любопытствующие под предлогом попросить соли или еще чего. И бабушка — звали ее Валентина — почти никому не отказывала, потому как втайне считала Шурика себе наградой за мужа, сгинувшего от послевоенной радости. Бабы подолгу с удовольствием разбирались, от кого носик, от кого ротик, от кого глазки, а веселый дед Никита Иванович заключил после внимательного молчания:

— Как в церькве, на иконе.

Глаза у Шурика были в пол-лица, обрамленные густыми черными ресницами, лобик крутой и губки ярко-красные — таким он покинул материнскую утробу.

Заходил и Виктор Степанович, долговязый не улыбочивый дядька, от серьезности которого смирили даже председатели. Помимо серьезности, он обладал огромным ростом, рыхлым носом, надсадным басом и говорил только самое нужное.

— Чисто кобыла, — сказал Виктор Степанович и тут же направился к выходу.

— Сам ты, дядя Витя, кобыла, — крикнула вдогонку Валентина, когда гость уже согнул голову под притолокой и перенес через порог худую ногу в гигантском сапоге, взяла Шурика и отнесла за занавеску, к матери.

Обиделась она только для вида, потому как Виктор Степанович от века пребывал на конюшне, возил на телеге бидоны с молоком, и все сравнения у него были лошадиные. Так что «кобыла» — это хорошо, наверняка хорошо...

Так вот Шурик рос и рос, да ближе к годичку началось неладное. Другие младенчики уже выдувают слюнявками ртами начатки слов, по кроваткам ползают, а этот сидит себе, глядит, не моргая, куда-то в потолок. Позовут его: «Шурик», — а он будто не слышит. Однажды сбегала Валентина за фельдшером, и тот, осмотрев ребенка, сказал, чтобы завтра же везли в город, записывались на обследование.

— Возможно, у него со слухом что-то, — сказал фельдшер, — надо проверить. Жить в городе есть у кого?

— Есть, — испуганно ответила Валентина, хотя никого в городе у нее тогда не было.

Да и не надо было им жить в городе, потому как в больнице приняли их сразу и сказали, что Шурик родился глухонемой, к тому же слегка задет параличом, и только стоит надеяться, что то и другое проявится не в полной мере.

Весной, дня за три до Шурикова двухлетия, сказала невестка Валентине:

— У нас, мама, немножко денежек скопилось. Я, мама, поеду в город, куплю ему пальтишко.

Оделась, взяла маленькую хозяйственную сумку, вышла на трассу и села в попутку. С вокзала отправила телеграмму: «Саша зпт уезжаю зпт это выше сил тчк».



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

